



# Анатолий Рыбаков

Дети Арбата.  
Книга 3. Прах и пепел

*ФТМ*



Дети Арбата

Анатолий Рыбаков

**Прах и пепел**

«ФТМ»

1991-1994

## **Рыбаков А. Н.**

Прах и пепел / А. Н. Рыбаков — «ФТМ», 1991-1994 — (Дети Арбата)

Трилогия «Дети Арбата» повествует о горькой странице истории России – о том времени, которое называют «периодом культа личности». Роман «Прах и пепел» (третья книга трилогии) завершает рассказ о судьбах героев книг «Дети Арбата» и «Страх».

© Рыбаков А. Н., 1991-1994

© ФТМ, 1991-1994

# Содержание

Часть первая	5
1	5
2	8
3	14
4	17
5	20
6	23
7	26
8	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Анатолий Рыбаков

## Прах и пепел

*Погиб и кормищик и пловец!  
Лишь я, таинственный певец,  
На берег выброшен грозою,  
Я гимны прежние пою  
И ризу влажную свою  
Сушу на солнце под скалою.*

*А. Пушкин*

### Часть первая

#### 1

– Повезло тебе, дорогуша! Первый раз пошел на почту, и бац – твоя телеграмма! Я сразу на вокзал.

Глеб улыбался, обнажал белые зубы, поглядывал на Сашу.

– С хозяйкой своей я договаривался на одного, приводить второго неудобно. Поищем тебе отдельную квартиру.

В камере хранения чемодан взяли, рюкзак – нет: «Не принимаем без замков». Саша сунул приемщику рубль: «Ладно, начальник, сегодня заберем». Сидор поставили рядом с чемоданом, квитанцию выдали на два места.

– Пройдемся пешком, – предложил Саша, – заодно и город покажешь.

Продовольственный магазин, промтовары, канцтовары, булочная, аптека... Как и в Калинине, как и всюду. Уныло. Старые одно- и двухэтажные деревянные дома. Изредка каменные – на них таблички с названием учреждений на русском языке и русскими же буквами на башкирском. Только это и напоминало, что здесь столица Башкирской автономной республики. А так – провинция, булыжная мостовая, кое-где деревянные тротуары, а где и вовсе без тротуаров. Пыль.

– Как тебе наша Уфа?

– Тоска российских городов...

Так он ответил Глебу. А про себя подумал: может быть, это его тоска... Опять, в который раз, все начинать сначала.

– Жить можно, – сказал Глеб, – башкиры народ мирный, гостеприимный. Однако обидчивый. Ты с ними, дорогуша, не задирайся.

– Еще чего!

– Сидели мы на днях в компании, один интеллигент ленинградский, молодой, такому же молодому башкиру говорит вроде, мол: «Я с тобой, старик, согласен». Понимаешь, дорогуша? Слово «старик» произнес, как это у ленинградских интеллигентов принято. А башкирин его по морде хрясь! «Какой я тебе старик?!» На слово «старик» обиделся. Хоть бы девки за столом сидели, значит, перед девками унизил. Нет, не было девок, одни мужики.

Глеб показал на павильон с надписью «Кумыс».

– Видишь, кумысом торгуют? Кобылье молоко, башкиры гонят из него араку вроде нашей браги, даже спирт гонят. Пьют будь здоров, на Коран внимания не обращают. «Деньга есть – Уфа гуляем, деньга нет – Чишма сидим».

– Что за Чишма?

– Станция возле Уфы, не заметил?

– Не обратил внимания.

– Выпить любят, а закусить еще больше. У них мясо в основном: конина, баранина. Бешбармак ничего, есть можно.

Они шли по центру города, по улице Егора Сазонова – эсер, террорист, убил царского министра Плеве. Уфимец он, что ли, был? Часто стали попадаться люди в энкаведешной форме, в начищенных сапогах, галифе, рыла квадратные, неподвижные.

– Что-то много их здесь, – заметил Саша.

– Видишь? – Глеб показал. – Управление НКВД.

Длинное двухэтажное кирпичное здание, окна зарешечены толстыми металлическими прутьями, четыре подъезда выступают до середины тротуара – глухие коробки, закрытые тяжелыми двустворчатыми дверьми без стекол.

– Глеб, ты знал, что в Калинин вводятся паспортные ограничения?

– Знал.

– Почему не сказал?

– Как это так: не сказал? Я точно помню свои слова: «Сегодня Калинин не режимный город, завтра станет режимным». Это что?

– Ну, намек...

– Такой намек и ребенок поймет. Тем более я предложил тебе уехать.

– Намек я понял уже в милиции.

– В твоём положении надо быстрее соображать.

– Получилось даже лучше: документы на руках, с работы уволен, с квартиры выписан.

Ладно, скажи: начали халтуру?

– Дорогуша! Как ты можешь? «Халтура»! Да ты что? Бригада под руководством самого Семена Григорьевича Зиновьева.

– Он тому Зиновьеву не родственник?

– Даже не однофамилец. Бывший солист Мариинского театра, автор книги «Современные бальные танцы». Дам тебе почитать, узнаешь, что о танцах говорили Сократ и Аристотель. Семен – могучая личность, крупный деятель, арендовал Дворец труда в самом центре, договора заключает с заводами и фабриками. Тридцать рублей с носа: фокстрот, румба, танго, вальс-бостон. – Глеб сбавил шаг, бросил взгляд на Сашин костюм, туфли. – Другого костюма у тебя нет?

– Чем этот плох?

– Немодный. И туфли... Туфли, дорогуша, это самое главное! Будешь им показывать, в какую сторону ногами двигать, на что они будут смотреть? На твою прекрасную шевелюру, на твои блядские глазки? Нет, дорогуша, на твои ножки будут смотреть. И если увидят стоптанные или грязные ботинки, то, согласишься, дорогуша, в восторг от твоего танца не придут. Не-эс-тетично! Галстук у тебя есть?

– В жизни не носил.

– Придется носить. И ботиночки сегодня же купить. Черные. Черные туфли подходят к любому костюму. Отнесись серьезно – это не какие-то там танцы-шманцы. Это, дорогуша, идеология, учти.

– Даже так?

– Собирается группа в тридцать человек, ты как думаешь: никого это не интересует? И не одна группа. Вся Уфа, и русские, и башкиры, все хотят танцевать западноевропейские танцы. Значит, кому положено, должен за этим следить. Ладно, пошли, увидишь нашу контору.

Они свернули с улицы Егора Сазонова в переулок. Возле домика с вывеской «Гастрольно-эстрадное бюро» толпились люди.

– Подожди меня здесь. – Глеб скрылся в дверях.

Саша отошел в сторону. В толпе многие, видимо, знали друг друга, окликали по именам, переходили от группы к группе, обнимались, целовались, здоровались, разводили руками: «Сколько лет, сколько зим!» Во всем сквозило нечто экзальтированное, наигранное... Как он будет жить, как будет работать рядом с ними? Чужие люди, чужие нравы. Может быть, плюнуть? Поискать работу в каком-нибудь гараже?

Вышел Глеб, показал бумажку с адресом.

– В самом центре. Гостиница только для народных и заслуженных, а всех прочих по квартирам. Видал ты эту биржу? Фокусники, гипнотизеры, танцоры, куплетисты... Башкиры с кураями. Знаешь курай?

– Нет.

– Дудочка вроде свирели, музыка заунывная... Толкуются у бюро, сколачивают бригады, главное, чтобы хороший администратор попался – едет вперед, рекламирует где-нибудь в глухомани – живой актер! Важно хоть одно знаменитое имя на афише. Тут, дорогуша, всяких Качаловых, Кторовых, Церетели, Улановых – полно! И не придерешься. Смирнов-Качалов, чувствуешь? Мухлеж идет... – Он покосился на Сашу. – Чего молчишь, дорогуша?

– Думаю. Для меня ли это занятие? Сам говоришь – мухлеж. А я к этому н е приучен.

– По-честному жить хочешь?

– Именно.

– И будешь жить по-честному, отрабатывать свои часы и получать зарплату. Все по закону, дорогуша. За этим следит наша начальница Мария Константиновна, ты ее еще увидишь, деловая баба, на ходу подметки рвет и интеллигентная притом. И учти, тебе самому придется платить за квартиру.

– Понятно.

Дом на углу вытянулся одной стороной по улице Аксакова, другой – по улице Чернышевского. Крохотная комнатка в небольшой квартире. Но хоть не за занавеской, как было в Калининe. Уже хорошо. Хозяйка, озабоченная, рассеянная, никак не могла найти очки, пеняла детям: подевали, наверно, куда-то. Девочка и мальчик лет одиннадцати-двенадцати ушли на поиски в кухню, мальчик кашлял. «Не дохай, – раздраженно покрикивала мать, – очки ищи!»

Наконец очки были найдены.

– А где направление? – спросила хозяйка.

Глеб обаятельно улыбался:

– Мария Константиновна торопилась, дала адрес, а направление выпишет в понедельник. Адрес написала своей рукой, вы же знаете ее почерк.

Хозяйка недоверчиво разглядывала бумажку.

– Вы сомневаетесь? – Саша опустил руку в карман. – Вот мой паспорт.

– Мне ваш паспорт не нужен, я вас прописывать не буду.

Не надо прописываться! Замечательно! Сразу отпали все сомнения – Саша вспомнил свои унижения с пропиской в Калининe. Здесь этого не будет. Гастролер объезжает за год много городов, что же, ему в каждом прописываться? Не хватит листков в паспорте. Ладно, будет заниматься танцами, черт с ним!

– Все оформит Мария Константиновна, – пообещал Глеб.

– Только имейте в виду... – Хозяйка вытолкала детей в соседнюю комнату, прикрыла дверь. – Я попрошу вас женщин на ночь не приводить.

– Что вы? Как можно?

– Можно-можно. – Она закивала головой. – Перед вами тут артист Цветков жил. Мало что пьяница, еще женщин приводил. Приличный на вид человек, а такие безобразия выстраивал. У меня ведь дети.

– Я постараюсь вас не беспокоить, – сказал Саша.

## 2

23 августа 1937 года в Георгиевском зале Кремля был устроен прием в честь летчиков Громова, Юмашева и штурмана Данилина, совершивших беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку.

За столами, стоявшими перпендикулярно к сцене, сидели крупные партийные и советские работники, высшие военачальники, ведущие авиаконструкторы, прославленные летчики, известные деятели науки и культуры. Приглашением гостей ведали специальные люди, хорошо осведомленные о значении каждого гостя, об отношении к нему товарища Сталина, о надежности в смысле поведения на приеме и во всех других смыслах. Эти же специальные люди решали, кого приглашать с женой, кого без жены, кому за каким столом и на каком месте сидеть – товарищу Сталину спокойнее видеть за ближайшими столами знакомые лица. Товарищ Сталин не любит спрашивать: «Кто это такой?» Товарищ Сталин сам знает, кто это такой!

Столы были уставлены винами и закусками, никто к ним не притрагивался: главный стол, стоявший параллельно к сцене и перпендикулярно к остальным столам, в некотором отдалении от них, тоже был уставлен винами и закусками, но за бутылками, графинами, бокалами, за вазами с фруктами виднелся ровный ряд пустых стульев – руководители партии и правительства еще не пришли. Они придут ровно в семь часов. В ожидании этой волнующей минуты гости негромко, сдержанно переговаривались между собой. На часы никто не смотрел. Посматривать на часы значило бы выражать нетерпение, это бестактно, нелояльно по отношению к товарищу Сталину.

Значительность момента подчеркивали и официанты, крепкие, суровые ребята в черных костюмах и белых манишках, с перекинутыми через руку салфетками, с бесстрастными лицами, застывшие у столов, возвышаясь над сидевшими гостями. Еще по два официанта стояли у дверей. Все знали, что официанты – штатные сотрудники НКВД, они дополняют охрану, стоящую во всех проходах, на всех этажах и лестницах дворца, и внештатных сотрудников НКВД, которые в достаточном количестве имеются за каждым столом.

Ровно в семь часов открылись боковые двери и в зале появился Сталин в сопровождении членов Политбюро. Все встали, задвигая стульями, зал взорвался бурными аплодисментами. Овация продолжалась, пока вожди проходили к столу, и наконец, встав каждый на своем месте лицом к гостям, зааплодировали в ответ. Зал хлопал вождям, вожди хлопали залу. Потом члены Политбюро повернулись к Сталину и хлопали ему. Зал тоже хлопал Сталину, протягивая ладони к тому месту, где он стоял, будто пытаясь дотянуться до товарища Сталина. Не хлопали только официанты, по-прежнему неподвижно стоявшие у столов, но уже не возвышаясь, как раньше, над сидевшими: сидевшие встали, и многие из них оказались повыше, покрупнее, поосанистей официантов.

Сталин хлопал, едва касаясь одной ладонью другой, держа их над самым столом, почти не сгибая локтей, и из-под опущенных век медленно обводил тяжелым взглядом стоявших поблизости. Разглядев и узнав их, он перевел взгляд в глубину зала, но за частоколом протянутых к нему рук никого не мог разглядеть. Тогда он перестал хлопать и опустил на стул. Вслед за ним опустились на стулья стоявшие рядом Молотов и Ворошилов, потом остальные члены Политбюро. Но гости продолжали стоять и хлопать. Тогда Сталин два раза слегка приподнял и опустил руку, приглашая гостей садиться. Но те не могли остановиться в выражении переполнявшего их восторга. Они пришли сюда не для того, чтобы пить водку и коньяк, шампанское и «Мукузани», не для того, чтобы есть икру, лососину, паштеты, жульен из шампиньонов и котлеты «по-киевски». Они пришли сюда, чтобы увидеть товарища Сталина, выразить ему свою любовь и преданность.



Сталин что-то сказал Молотову, тот встал, поднял обе руки ладонями вперед, как бы говоря: «Все, товарищи! Достаточно! Товарищ Сталин понимает и ценит ваши чувства, но мы собрались здесь для определенного дела, давайте приступим. Прекратите, пожалуйста, овацию, садитесь!»

Первыми перестали хлопать стоявшие близко к президиуму. Вокруг них засуетились официанты, разливая по рюмкам и бокалам водку, вино, кому что требуется.

Но остальные гости продолжали стоять и хлопать, хотели, чтобы товарищ Сталин увидел бы и их, прочитал бы на их лицах и в их глазах беззаветную любовь и обожание. Молотов поднял руки выше, помахал ладонями, давая понять гостям в середине зала, что члены Политбюро видят их, все понимают, все ценят, но просят их тоже сесть. Похлопав в благодарность за это обращение еще несколько секунд, опустили на свои места и в середине зала. И вокруг них тоже засуетились официанты, разливая вино по бокалам.

Продолжали стоять и хлопать только гости с самых крайних столов. Теперь, когда впереди все уже сидели, они надеялись, что Сталин увидит и их тоже. Молотов посмотрел на кого-то, стоявшего у боковой двери, тот дал знак еще кому-то, и в ту же минуту официанты у последних столов стронулись со своих мест, степенно, но настойчиво заговорили: «Товарищи, товарищи, садитесь, пожалуйста... Товарищ! Вас просят сесть! Давайте, давайте, товарищи, не задерживайте...» Даже стали подвигать стулья, задевая гостей, и почетные гости быстренько уселись на свои места. И так же, как за другими столами, официанты наполнили их рюмки и бокалы водкой и вином. Молотов встал, и в ту же секунду официанты замерли у столов.

Молотов упомянул о небывалых достижениях советского народа во всех областях жизни. Эти успехи особенно видны на примере нашей могучей авиации, в развитии которой Советский Союз идет впереди всего мира. СССР стал великой авиационной державой, чем обязан гениальному руководству товарища Сталина, который лично уделяет огромное внимание развитию авиационной промышленности, по-отечески пестует и воспитывает летчиков, славных соколов нашей страны.

Зал опять взорвался овацией, гости задвигали стульями, встали, захлопали, протянув ладони к товарищу Сталину, теперь эта овация предназначалась лично ему, его имя было наконец названо.

Сталин встал, поднял руку, в зале воцарилась тишина.

– Продолжайте, товарищ Молотов, – сказал Сталин и сел.

Все заулыбались, засмеялись, опять захлопали сталинской шутке.

Молотов хотел продолжать, однако за первым столом, где сидели летчики, поднялся Чкалов, повел широкими плечами, набрал воздуха в легкие и крикнул:

– Нашему дорогому Сталину – ура, ура, ура!

И весь зал подхватил: ура, ура, ура!

Сталин усмехнулся про себя. Не полагается перебивать руководителя правительства. Но ведь это Чкалов, его любимец, человек, который олицетворяет русскую удаль, лихость, бесшабашность, Чкалов – величайший летчик ЕГО эпохи, ЕГО времени. Ничего не поделаешь, придется Молотову примириться с тем, что этот смельчак мало знаком с этикетом.

Молотов был опытный председатель, успокоил зал и продолжил:

– Свидетельством могущества нашей авиации служит невиданное в истории человечества достижение наших доблестных летчиков: Громова, Юмашева, Данилина. Совершив перелет через Северный полюс в Америку, в город (Молотов посмотрел в бумажку) Сан-Джасинто в Калифорнии, они установили мировой рекорд дальности беспосадочного полета.

Сталин снова усмехнулся про себя. Молотов отомстил Чкалову за то, что тот перебил его. Даже не упомянул о его полете. А ведь дорогу проложил Чкалов: первым через Северный полюс в Америку перелетел Чкалов. Самолюбив Молотов, обидчив. Туповатые люди всегда обидчивы.

Свое выступление Молотов закончил здравицей в честь Громова, Юмашева, Данилина.

Снова аплодисменты, крики: «Ура советским летчикам!» Но никто уже не вставал. Вставать полагается только в честь товарища Сталина. Встали, когда встал сам товарищ Сталин, чтобы чокнуться с приглашенными к столу президиума летчиками Грозовым, Юмашевым и Данилиным. Но как только товарищ Сталин сел, все тоже быстренько уселись и принялись за закуску, проголодались, слушая длинную речь Молотова, да и дома сегодня, наверное, не слишком налегали на еду в предвкушении обильного ужина.

Как всегда, концертную программу открыл ансамбль красноармейской песни и пляски под руководством Александрова, и, как всегда, кантатой о Сталине, сочиненной тем же Александровым. Ее выслушали благоговейно, перестав есть. Но как только ансамбль перешел к следующему номеру, опять налегли: мужчины – на водку, дамы – на вина, все вместе – на закуску.

Ансамбль сменили певцы Козловский, Максакова, Михайлов, потом Образцов с курами... Вожди смотрели на них, обернувшись к сцене, а гости пили и ели, видели это и слышали сто раз.

В промежутках между выступлениями артистов произносились тосты, все, конечно, за товарища Сталина. Ведущий авиационный конструктор сказал: «Товарищ Сталин хорошо знает людей, работающих в авиации, подсказывает решение сложных технических проблем, учит нас, конструкторов, далеко смотреть в будущее».

И опять ели и пили за товарища Сталина. И Сталин тоже пил, как обычно, мало закусывая. ОН любил такие приемы, понимал их значение, недаром цари устраивали балы, не случайно Петр завел свои ассамблеи. Все это придает правлению властителя ореол праздничности, дает окружению возможность почувствовать ЕГО расположение, отметить ЕГО достижения, ЕГО победы.

Народ любит победы и не любит поражений, помнит только свои победы и не желает помнить поражений. Помнит победу Дмитрия Донского и Александра Невского, победы Ермака, взятие Казани и Астрахани, победы под Полтавой и над Наполеоном. Но не желает помнить татарского ига, сожжения Москвы ханом Девлет-Гиреем, поражений под Севастополем и Порт-Артуром. Все это народ отбрасывает, оставляя в своей исторической памяти только победы. Любит русский человек покуражиться, это у него в крови – компенсация за вековую отсталость, нищету и рабство. В этом ОН убедился еще в ссылке, видел в деревне среди крестьян, это ОН наблюдал и у мастеровых в Баку. Вспыльчивый, горячий грузин выпьет вина и поет с другими грузинами грузинские песни, танцует и веселится. А смирный, тихий русский мужичок, выпивши, лезет в драку, доказывает свою силу. Этот кураж – важное слагаемое русского национального характера, он подвигает русского человека на отчаянные поступки. Именно поэтому народ так любит своих героев, именно поэтому так популярны летчики – они показывают всему миру силу своего народа, удачу и смелость его сынов. И народ ЕМУ благодарен за то, что ОН такими их воспитал. И ОН может гордиться тем, что отсталый, забитый, неграмотный народ превратил в народ-герой. ОН останется в истории тем великим, чего достиг народ под ЕГО руководством. А издержки, неизбежные при создании могучей централизованной державы, забудутся. Кто будет вспоминать жалких пигмеев, которых он вышвырнул за борт истории, сволочь, именующую себя «старой ленинской гвардией»? Почувствовали смертельную опасность! Даже «верный друг» Клим Ворошилов и тот наделал в штаны, позвонил ему: «Коба, как мне поступить, если явятся за мной?» Он тогда помолчал, потянул, поманежил беднягу, потом сказал: «А ты им не открывай дверь». Успокоился, сидит рядом, розовенький дурачок, выпивает, улыбается, как же: военные летчики, его кадры. Пусть тешится.

Так думал Сталин, сидя за столом рядом с Молотовым и Ворошиловым, потягивая вино, понемногу закусывая, оборачиваясь к сцене, когда выступали артисты, и не слушая ораторов, произносивших тосты. Он хлопал и тем и другим, поднимая свой бокал, потом сказал Молотову:

– Дай мне слово.

Молотов постучал ножом о бокал, этого звука никто не услышал, но официанты мгновенно замерли на своих местах, зал затих, все повернулись к президиуму.

– Слово имеет товарищ Сталин, – объявил Молотов. Сталин встал, и все тотчас же встали. И снова аплодисменты, снова овация.

Сталин поднял руку – все сразу затихли, Сталин опустил руку – все сели.

– Попрошу, товарищи, наполнить бокалы, – сказал Сталин.

Произошло легкое движение, все торопились налить вино, наливали, что было под рукой, выбирать некогда, нельзя же заставлять товарища Сталина ждать.

Восстановилась тишина.

– Я хочу поднять этот бокал, – сказал Сталин, – за наших мужественных летчиков, нынешних и будущих Героев Советского Союза. Хочу сказать им, и нынешним, и особенно будущим Героям Советского Союза, следующее: смелость и отвага – неотъемлемые качества Героя Советского Союза. Летчик – это концентрированная воля, характер, умение идти на риск. Но смелость и отвага – только одна сторона героизма. Другая сторона, не менее важная, это умение. Смелость, говорят, города берет. Но это только тогда, когда смелость, отвага, готовность к риску сочетаются с отличными знаниями. К этому я и призываю наших мужественных летчиков, славных сыновей и дочерей нашего народа. Я поздравляю наших Героев Советского Союза, как нынешних, так и будущих. Я поднимаю этот бокал как за нынешних, так и за будущих Героев Советского Союза. За летчиков малых и больших – неизвестно, кто малый, кто большой, это будет доказано на деле. Мы уже пили за здоровье товарищей Громова, Юмашева и Данилина. Но не будем забывать, что их героический перелет подготовлен подвигами и других летчиков. Это выдающиеся летчики нашего времени, Герои Советского Союза – Чкалов, Байдуков, Беляков, совершившие первый беспосадочный перелет через Северный полюс, Москва – Ванкувер в Соединенных Штатах Америки. – Сталин протянул палец к столу, где сидели летчики. – Именно они, Чкалов, Байдуков, Беляков, первыми проложили путь через Северный полюс в Америку. Выпьем, товарищи, за наших славных летчиков, Героев Советского Союза, нынешних и будущих.

Сталин выпил. И все выпили, поставили бокалы на стол и зааплодировали. С ними говорил сам Сталин. Все хлопали, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин... Товарищу Сталину – ура!» Особенно старались летчики, хлопали в такт и выкрикивали здравицы хором. От их стола отделились Чкалов, Байдуков и Беляков и направились в президиум. Их, конечно, позвали. Без особого приглашения никто не смел пересекать пространство между столом президиума и остальными столами. Сталин пожал летчикам руки, Громову, Юмашеву и Данилину он уже пожимал руки, теперь очередь главного, любимого летчика. Но Чкалов, Байдуков и Беляков явились в президиум с бокалами в руках.

– Товарищ Сталин, – сказал Чкалов, – разрешите обратиться?!

– Пожалуйста.

– Позвольте чокнуться с вами и выпить за ваше здоровье?

– Ну что ж, можно и выпить.

Сталин налил в бокал вино, чокнулся с летчиками, все выпили.

Сталин поставил бокал на стол.

– Еще будут какие-нибудь просьбы?

– Товарищ Сталин. – Чкалов смело глядел ему в глаза. – От имени всего летного состава... Сейчас будет выступать Леонид Утесов... От имени всего летного состава... Просим... Разрешите Утесову спеть «С Одесского кичмана».

– Что за песня? – спросил Сталин, хотя знал эту песню. Ее дома напевал Васька, и ОН был недоволен: сын поет воровские песни.

– Замечательная песня, товарищ Сталин. Слова, товарищ Сталин, может быть, и тюремные, блатные, но мелодия боевая, товарищ Сталин, строевая мелодия.

– Хорошо, – согласился Сталин, – пусть споет, послушаем.

В артистической комнате, где толпились, ожидая своего выхода, артисты (те, кто уже выступил, сидели в соседнем зале за специально накрытыми для них столами), появился военный с тремя ромбами на петличках гимнастерки, отозвал в сторону Утесова, строго спросил:

– Что собираетесь петь, товарищ Утесов?

Утесов назвал репертуар.

– Споете «С Одесского кичмана», – приказал военный.

– Нет-нет, – испугался Утесов, – мне запретили ее петь.

– Кто запретил?

– Товарищ Млечин. Начальник реперткома.

– Положил я на вашего реперткома. Будете петь «С Одесского кичмана».

– Но товарищ Млечин...

Военный выпучил на него глаза:

– Вам ясно сказано, гражданин Вайсбейн?! – И злобным шепотом добавил: – Указание товарища Сталина.

И первым номером Леонид Утесов под аккомпанемент своего теа-джаза спел «С Одесского кичмана»...

С Одесского кичмана бежали два уркана,  
бежали два уркана да на во-олю...  
В Абнярской малине они остановились,  
они остановились отдохнуть.

Пел лихо, окрыленный указанием товарища Сталина, сознавая, что с этой минуты никакой репертком ему не страшен, он будет петь и «Кичмана», и «Гоп со смыком», и «Мурку», и другие запрещенные песни.

И оркестр играл с увлечением. Ударник выделял чудеса на своих барабанах и тарелках, саксофонисты и трубачи показали себя виртуозами. Заключительный аккорд, оркестр оборвал игру на той же бравурной ноте, на какой и начал.

Никто не понимал, в чем дело. На таком приеме, в присутствии товарища Сталина Утесов осмелился спеть блатную песню. Что это значит?! Идеологическая диверсия?! Не то что хлопнуть, пошевелиться все боялись. Даже Чкалов, Байдуков и Беляков притихли, не зная, какотреагирует товарищ Сталин. Растерянные оркестранты опустили трубы, бледный Утесов стоял, держась за край рояля, обескураженный мертвой тишиной, и с ужасом думал, не провокация ли это, не сыграл ли с ним военный злую шутку, пойди докажи, что ему приказали, он даже не знает, кто этот военный, не знает его фамилию, помнит только три его ромба.

И вдруг раздались тихие хлопки – хлопал сам товарищ Сталин. И зал бурно подхватил его аплодисменты. Если хлопает товарищ Сталин, значит, ему это нравится, значит, он это одобряет. И правильно! Веселиться так веселиться! Правильно! Bravo! Бис! Бис! Bravo!

Взмокший Утесов, едва переводя дыхание, раскланивался, поворачивался к оркестру, отработанным дирижерским движением поднимал его, музыканты вставали, постукивали по своим инструментам, как бы аплодируя залу. А зал не утихал, аплодисментами и криками «бис!» требуя повторения. Глядя на Утесова, Сталин развел руками, пожал плечами: мол, ничего не поделаешь, народ хочет, народ требует, народу нельзя отказывать...

Утесов спел второй раз.

Товарищ, товарищ, болят мои раны,  
болят мои раны в глыбоке.  
Одна заживает, другая нарывает,  
а третья открылась на боке.

Летчики подпевали, притоптывали, отбивали такт ножами и вилками, постукивая ими о тарелки и бокалы. И за другими столами тоже подпевали и притоптывали и, когда Утесов кончил петь, опять взорвались криками: «Бис! Бис!» И товарищ Сталин аплодировал, и члены Политбюро аплодировали, и опять товарищ Сталин пожал плечами, развел руками, и Утесов спел в третий раз.

Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме,  
что сын ее погибнул на poste.  
С винтовкою в рукою и с шашкою в другую,  
и с песнею веселой на губе.

Летчики уже не только подпевали, а орали во всю глотку, вскочили на стол и плясали, разливая вина и разбрасывая закуски. Даже писатель Алексей Толстой, толстый, солидный, с благообразным бабьим лицом, и тот взобрался на стол и топтался там, разбивая посуду. Граф, а как его разобрало.

Песня, конечно, уголовная, но что-то в ней есть. Слова сентиментальные, уголовники это любят. «Болят мои раны... Скажи моей ты маме...» Но мелодия четкая, зажигательная. Он хорошо помнит уголовников, встречался с ними в тюрьмах, на пересылках. Конечно, преступники. И сейчас, когда они покушаются на социалистическую собственность, их надо жестоко преследовать, сурово наказывать – социалистическая собственность неприкосновенна. Но тогда, в царские времена, стирались грани между преступлением и протестом против несправедливости, угнетения и нищеты. Простые, неграмотные люди не всегда могут подняться до высших общественных интересов. Хотят справедливости для себя, требуют перераспределения богатства на своем уровне. В Баку, в Баилловской тюрьме, ОН общался с уголовниками с гораздо большим удовольствием, чем со своими «коллегами» – политическими. «Коллеги» вечно спорили, теоретизировали, выясняли отношения, разбирали свои склоки и интриги, каждый доказывал, что он умнее, образованнее и порядочнее другого. У уголовников все было просто и ясно. Законы, правила, обычаи простые и нерушимые. И наряду с этим слаженность, дисциплина. Беспрекословное подчинение вожаку, преданность своей организации. Измена беспощадно каралась. Самое универсальное наказание – смерть, другими средствами наказания они не располагали. За малейшее подозрение – тоже смерть, никаких средств расследования они не имели.

Уголовное начало – начало атавистическое, оно заложено в каждом человеке. В интересах государственной дисциплины и порядка его следует подавлять. Но когда уголовное начало прорывается вот таким невинным образом, как сегодня здесь, в Кремлевском дворце, в заливчатской песне о сбежавшем из тюрьмы воре, в пляске на столе... Ну что ж, с таким проявлением уголовного начала можно мириться. ОН строго взыскивает за малейшую провинность, но, приходя к НЕМУ на праздник, люди должны испытывать радость и удовольствие.

Этим приемом товарищ Сталин остался доволен. Люди веселились искренне, от души веселились. А если люди веселятся, значит, дела у них идут хорошо. Если люди в стране веселятся, от души веселятся, значит, дела в стране тоже идут хорошо.

## 3

Группа выстраивалась в шеренгу, если помещение было тесным, то в две, впереди Семен Григорьевич, командовал:

– Начинаем с правой ноги... Шаг вперед – раз!левой – два! Правой вправо, приставляем левую – три! Снова правой – четыре! Какая нога свободна? Левая! Начинаем с левой. Вперед – раз, два! В сторону – три, четыре! Ту же фигуру проделываем назад: правой, левой – раз, два! Вправо, влево – три, четыре! Вернулись в исходное положение.

Это движение – основа фокстрота, румбы и танго – повторилось много раз. Потом все разучивалось под музыку, под четкие, ударные звуки фокстрота или румбы. Правой вперед – раз, два, вправо – три, четыре!.. «Фиеста, закройте двери. Фиеста, тушите свет...» Раз, два, три, четыре!.. «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...» Раз, два, три, четыре!.. «И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ...» Раз, два, три, четыре! Убедившись, что движение освоено, Семен Григорьевич приказывал его проделать в паре.

Семен Григорьевич был весьма представительен. Плотный, даже полноватый, средних лет, с бритой актерской физиономией, пышной седеющей шевелюрой, появлялся на занятиях в неизменном темном костюме, белой рубашке, с бабочкой, в блестящих лакированных туфлях. Ходил, опираясь на черную, тоже лакированную трость с массивным круглым блестящим набалдашником. Во время урока ставил ее в дальний угол, чтобы не задела, не уронили. Голос у Семена Григорьевича был приятный, по-актерски хорошо поставленный, даже интеллигентный, говорил он весомо, значительно, во вступительном слове, как и предупреждал Глеб, ссылался на Сократа и Аристотеля, доказавших, что танцы полезны для здоровья, развивают художественный вкус и музыкальность.

Западные танцы, утверждал Семен Григорьевич, ошибочно трактуются как буржуазные, на самом деле происхождение их народное. Танго – народный танец Аргентины, румба – Мексика, медленный фокстрот танцуют обычно под музыку блюза – грустные мелодии американских негров. Семен Григорьевич просил Глеба проиграть несколько музыкальных фраз блюза и обращал внимание слушателей на их безысходную тоску. Это тоска негритянского населения США, столетиями пребывавшего в рабстве и поныне угнетаемого и унижаемого буржуазным обществом.

К Семену Григорьевичу, к его лекциям Саша относился иронически. «Жучок». Таскается со своей тростью по месткомам и фабкомам, заключает договоры, мухлюет, прикрываясь своим респектабельным видом. И можно ждать чего угодно. От любого человека можно ждать чего угодно, все теперь их люди. И он, потянувши руку за расстрел Тухачевского, разделит с ними ответственность за убийство невинных людей. Воспоминание о том митинге, об охватившем страхе угнетало его, он был себе отвратителен, пытался уверить себя, что так устроен мир, но понимал, что так устроен он сам.

Никто никому не верит, и он не верит, ни с кем не говорит о политике, даже о том, что пишут в газетах... «Да? А я не читал... Пропустил, наверно...» Он и в самом деле их почти не читал, иногда, проходя по улице, останавливался у стенда, проглядывал «Правду». Все одно и то же: победные репортажи, трудовые рекорды, приветствия великому Сталину, его портреты, разоблачения шпионов, диверсантов, троцкистов, расстрелы, суды, награждение орденами работников государственной безопасности за «особые заслуги в борьбе с врагами народа». В одном из списков награжденных Саша увидел имя Шарока Юрия Денисовича, награжденного орденом Красной Звезды.

Будягин и Марк расстреляны, руководители партии, совершившие Октябрьскую революцию, герои гражданской войны, истреблены, а контрреволюционеры и антисоветчики награждаются орденами от имени той партии, которую они уничтожили, от имени власти рабочих и

крестьян, которой уже нет. Чью же диктатуру осуществляет Сталин? Пролетариат бесправен. Крестьянство превращено в крепостных, называемых колхозниками. Государственный аппарат живет в страхе. В стране диктатура Сталина, только Сталина, одного Сталина. Утверждение Ленина, что волю класса может выражать диктатор, неправильно, диктатор может выражать только собственную волю, иначе он не диктатор.

Попалась Саше на глаза статья Вадима Марасевича. Вот и Вадик печатается в «Правде», громит какой-то роман, обвиняет автора в апологетике кулака. «Хочет того автор или не хочет, – писал Вадим, – но его роман оказывает хорошую услугу международному империализму, помогает ему духовно разлагать советских людей, подрывает их веру в великое дело Ленина – Сталина». Ничего себе обвинение, тянет на 58-ю статью, это уж точно. Хорош профессорский сынок!

Все скурвились, все продались. Всеобщий страх породил всеобщую подлость, все под колпаком, всюду их глаза, их уши, всюду отделы кадров, анкеты, требуют паспорт, а там обозначено, кто ты такой.

Значит, выбор сделан правильно. Танцы! Не требуют здесь автобиографии, не надо заполнять анкет. Если держаться осторожно, можно не нарваться. Хозяйка не требует обещанного ей Глебом официального направления, забыла, наверное. Приходит Саша поздно и встает поздно, часто и вовсе не приходит, живет тихо, никто у него не бывает, за квартиру платит аккуратно, хозяйку это устраивает. Правда, Глеб сказал, что следует зайти в Гастрольбюро к Марии Константиновне с паспортом, но как-то мельком сказал. И Саша отодвинул это от себя: не спрашивают паспорт, и ладно.

В первое же воскресенье после приезда в Уфу он позвонил маме. Голос у нее был встревоженный. Телефонистка сказала: «Ответьте Уфе».

– Сашенька, почему Уфа, что за Уфа?

– Я в Уфе с автоколонной, в командировке, пробуду месяца два-три, будем вывозить хлеб из районов, поэтому не уверен, что смогу регулярно звонить. Но буду стараться. Как всегда, по воскресеньям. Мне пиши: Уфа, Центральный почтамт, до востребования.

Но мама чувствовала что-то неладное, опять страдала и волновалась за него.

– Почему так далеко? Из Калинина в Башкирию?!

– Мама, как проводить уборочную кампанию, решаем не мы с тобой. Приказали отправить автоколонну – отправили. Нет причин для волнений.

– Зайди к брату Вериного мужа. Я тебе дала его адрес.

– Будет время – зайду.

Позвонил он маме и в следующее воскресенье, и мама вроде бы успокоилась. Но что будет с ней, если здесь или где-нибудь в другом месте, куда занесет судьба, его арестуют? В 1934 году его арестовали дома, мама искала его по московским тюрьмам и наконец нашла. А если заберут в Уфе или еще где-нибудь, как и где она будет его искать, не будет знать, жив ли он, умер, арестован, куда ей ехать, куда бросаться, в какую тюрьму, в какую больницу, на какое кладбище... Этого мать уже не перенесет.

К родственникам Веры он не пошел. Неизвестно, как они отнесутся к его посещению: принимать у себя судимого сейчас опасно. Да и надобности нет. Он устроен, привыкает к этой жизни, спокойной и даже легкой. В Калинине, накручивая километры на своем грузовике, он жевал и пережевывал одни и те же мысли, накидывался на газеты, впадал в отчаяние, особенно унылыми одинокими вечерами. Здесь вечера праздничные – музыка, красивые девушки, глаза лучатся, забыли про начальство, парткомы, профкомы, служебную тяготину, ловят каждое его слово.

– Правой вперед – раз!левой вперед – два! «А Маша чай в стаканы наливает, а взор ее так много обещает...» Раз, два, три, четыре! «У самовара я и моя Маша, вприкуску чай пить

будем до утра...» Стараются. И про треклятый быт не помнят, и про то, что не хватит денег до полочки, забыли... Хорошая работа, люди получают удовольствие.

В каждой группе Саша выбирал способную девочку, показывал с ней движения, она становилась его ассистенткой. Одна такая девочка появилась в первой же группе, ее звали Гуля, стройная, гибкая, лет шестнадцати, с детским личиком, нежным и доверчивым. Хорошо чувствовала такт, обладала легким шагом и сильными руками, крепко держала партнера, поворачивала его в нужную сторону, безотказно работала с самыми тупыми. «Наш девиз, – солидно говорил Семен Григорьевич, – добиться стопроцентной успеваемости. Каждый может научиться танцевать – способность к танцу заложена в человеке природой».

Саша часто ловил на себе Гулин взгляд, смущаясь, она тут же отводила глаза. Он ей нравился, в этом возрасте девочки часто влюбляются в молодых преподавателей. Однажды, танцуя с ним, Гуля, преодолевая робость, сказала:

– Хотите после занятий пойти в театр, здесь, во Дворце труда, наверху?

Наверху был зрительный зал, устраивались концерты, выступали приезжие труппы.

Гуля вынула из нагрудного карманчика два билета:

– У меня уже билеты есть.

– Спасибо, Гуленька, но сегодня после занятий совещание в Гастрольбюро, пойдешь с подружкой.

Никакого совещания не было, но заводить роман с этой девочкой Саша не хотел.

Он вспомнил Варино приглашение на каток в «Арбатском подвальчике». Такой же наивный прием. Он думал теперь о Варе без ревности, без обиды. Все перегорело и ушло. Было в ней тогда обаяние юности, было его одиночество в Сибири, ее приписки к маминым письмам, ни от кого он больше писем не получал, и потому ожидание свободы связывалось именно с ней, Варя была для него его Москвой, его Арбатом, его будущим. Все придумал, все сочинил. И все же рана болит, когда к ней прикасаешься. И он старался меньше вспоминать о Варе. Но однажды, разговаривая с мамой по телефону, спросил, кто у нее бывает. Он не собирался задавать этот вопрос, но ему захотелось вдруг услышать Варино имя.

– Кто бывает? – переспросила мама. – Варя заходит, иногда приезжают сестры. А что?

– Ничего, – ответил он, – просто хотелось представить себе, как ты живешь.

Значит, Варя заходит. Это сообщение обрадовало его. Хотя, если разобраться, ни о чем оно не говорило. Хотел услышать Варино имя и услышал. И точка.



## 4

После первой поездки Шарока в Париж последовала вторая, а потом его там оставили с добытым в Испании паспортом русского эмигранта Юрия Александровича Привалова. Удача была в совпадении имен: и его, и покойного звали одинаково – Юрий. Легенда была хорошо проработана. Мальчиком очутился в эмиграции, в Шанхае, родители умерли, перебрался в Париж, работает в рекламной фирме, хозяин – француз. В России, в Нальчике, остались дальние родственники, с ними, естественно, связи не поддерживает, да и живы ли они, не знает. «Крыша» хотя и не дипломатическая, но надежная. Шпигельглас доверил ему связь с двумя агентами – генералом Скоблиным («Фермер») и Третьяковым («Иванов»). С «Фермером» Шарок уже встречался раньше, вместе со Шпигельгласом, когда готовили дело Тухачевского, а досье Третьякова – «Иванова» изучил в Париже.

Сергей Николаевич Третьяков, до революции крупный российский промышленник, в 1917 году министр Временного правительства, затем министр в правительстве Колчака, завербованный в 1930 году за 200 долларов в месяц, обладал хорошей репутацией среди эмигрантов. Но главная его ценность как агента заключалась в следующем: в доме Третьякова (улица Колизе, 29) на первом этаже размещался штаб РОВСа, Российского общевойскового союза, семья Третьякова жила на третьем этаже, а сам он – на втором, как раз над кабинетом руководителя РОВСа генерала Миллера. В потолке кабинета установили подслушивающее устройство, Третьяков сидел весь день дома со слуховым аппаратом, записывал, записи передавал Шароку. Таким образом, советская разведка имела доступ к самой секретной информации о белогвардейской эмиграции.

И встречаться с Третьяковым было приятнее, чем со Скоблиным. Скоблин держался высокомерно, да и встречи с ним были опасны: эмигранты подозревали его в сотрудничестве с НКВД, за ним могли следить, приходилось часто менять время и место свиданий. Третьяков был вне подозрений, они встречались по средам около пяти в кафе «Генрих IV» на углу Плас де ла Бастиль и бульвара Генрих IV, сидели в небольшом полупустом в этот час зале, о деле никогда не говорили, клали на стол принесенные с собой журналы, Третьяков уходил с журналом Шарока, Шарок – с журналом Третьякова, в нем лежали тексты подслушанных разговоров.

В свое время Шпигельглас предупреждал:

– Третьяков разочаровался в эмиграции, но выдает не всю информацию, какой обладает. Вам следует все время выказывать недовольство, требуя большего. Он работает исключительно ради денег и будет у вас всячески их кланяться и вымогать. Не поддавайтесь. Двести долларов в месяц – ни цента больше. Будет плохо работать, давайте по сто, остальные – когда выдаст что-нибудь дельное. Расписка обязательна. Особенно остерегайтесь его экскурсов в прошлое, он любит вспоминать старину и заболтает вас.

Однако Шарок был доволен Третьяковым. В отличие от коротких, отрывистых и не всегда существенных сообщений Скоблина информации Третьякова были обстоятельны и значительны. Высокий, красивый, вальяжный русский барин мелкими глотками потягивал кофе, пускаясь в рассуждения о дореволюционной России, о старой Москве. Шарок вопреки совету Шпигельгласа не прерывал Третьякова. Почему не послушать? Но в то же время, наблюдая за стариком, делал свои выводы: переменчив в настроениях. Блаженная улыбка так же легко сходила с его лица, как и появлялась, он хмурился, багровел, принимался ругать эмиграцию:

– В смысле борьбы с Советами потеряла всякое значение, грызутся друг с другом. Иностранные державы перестали делать на нее ставку. На покойников, как известно, ставки не делают.

Шарок отводил на встречи с Третьяковым минут сорок, не подозревая, что скоро ему придется провести с ним почти двое суток, не расставаясь ни на минуту. Случилось это во

время похищения Миллера. Миллер знал, какую роль сыграл Скоблин в деле Тухачевского и других советских военачальников. Именно поэтому Шпигельглас считал его нежелательным свидетелем и вместе со Скоблиным подготовил акцию похищения, назначив ее на 22 сентября. На этой операции Скоблин и провалился.

Перед уходом из штаба генерал Миллер оставил запечатанный конверт с приказанием вскрыть его в том случае, если к вечеру он, Миллер, не вернется.

Миллер не вернулся, конверт вскрыли, в нем лежала записка:

«Сегодня в 12 часов 30 минут у меня назначена встреча с генералом Скоблиным на углу улиц Jasmin и Raffet. Он должен отвезти меня на randevu с двумя немецкими офицерами: полковником Шторманом и сотрудником здешнего германского посольства Вернером. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, это ловушка, поэтому я оставляю вам эту записку».

Записку сотрудники Миллера предъявили Скоблину и предложили отправиться с ними в полицию. Однако Скоблину удалось бежать и связаться со Шпигельгласом. Тот приказал Шароку спрятать его у Третьякова, то есть в доме, где находился штаб РОВСа и где никому в голову не могло прийти его искать. Через два дня Шпигельглас переправил Скоблина в Испанию, а сам уехал в Москву.

Увидев Скоблина, Третьяков перепугался, а на следующий день, узнав из газет, что Скоблин участвовал в похищении Миллера, перепугался еще больше – скрывая Скоблина, он становился соучастником преступления. Два дня Шарок держал его под своим неусыпным контролем, успокаивал старика, а когда Скоблина переправили в Испанию, выдал ему пятьсот долларов за оказанную услугу. Таково было распоряжение Шпигельгласа. Третьяков успокоился, тем более имя его в связи с этим делом нигде и никем не упоминалось, он по-прежнему вне подозрений.

Подробности о похищении Миллера Шарок узнал из газет. Скоблин привез Миллера на бульвар Монморанси, где в воротах виллы два человека втокнули его в машину, она тут же отправилась в Гавр. В Гавре ящик, в который запрятали Миллера, перегрузили на борт советского парохода «Мария Ульянова», пароход снялся с якоря и ушел в Ленинград. О дальнейшей судьбе генерала Миллера Шарок мог только догадываться – наверняка расстреляли.

Внимательно читая газеты, Шарок усмехался про себя – шумят, кричат. Большевики на территории Франции среди бела дня похищают людей! Похитили генерала Кутепова, теперь генерала Миллера! Грузовик, на котором доставили Миллера в Гавр, принадлежит советскому посольству. В кампанию включился знаменитый Бурцев, разоблачивший в свое время провокатора Азефа. Бурцев утверждал, что главный агент Москвы – не Скоблин, а его жена – известная русская певица Плевицкая. Скоблин при ней на вторых ролях. Плевицкую арестовали, дожидается в тюрьме суда. Обстановка накалялась, Шпигельглас и кое-кто из резидентов отсиживались в Москве. Хорошо законспирированный Шарок остался в Париже. Помимо всего прочего, занимался немецким.

Шпигельглас ему как-то сказал:

– Разведчик должен знать минимум два языка. В школе у вас был французский, в институте – немецкий, так написано в вашей анкете.

– Да, в институте был немецкий.

– Вот и займитесь. Ваш хозяин – эльзасец, жена – немка, говорят и по-немецки, вот вам практика.

Шутливо, но со значением добавил:

– Занимайтесь прилежно, будем проверять. И еще: завязывайте связи с эмигрантами на бытовом уровне, можно и на деловом, коммерческом, если понадобится. У вас должен быть круг знакомых, которые смогут засвидетельствовать: «Ах, Юрий Александрович... Мы его знаем». Это могут быть простые люди, не обязательно титулованные особы.

- Среди простых эмигрантов бывают и князья, – пошутил в свою очередь Шарок.
- И это подходит.

## 5

Семен Григорьевич пригласил еще двух аккомпаниаторов – пианиста и баяниста. Баяниста звали Леня – здоровый добродушный парень, безответный, покладистый, таскался со своим баяном куда прикажут, играл по слуху, репертуар примитивный, выпивал, составил в этом смысле компанию Глебу, да и Саше, Саша в последнее время тоже прикладывался, иногда крепко. Второй – пианист, профессионал, Миша Каневский, худенький, с нервным лицом, серыми беспокойными глазами и длинными красивыми пальцами, учился в Ленинградской консерватории, не закончил, попал в Уфу, в Гастральбюро, работы было мало, и вот принял предложение Семена Григорьевича, от работы в ресторанном оркестре отказался:

– В ресторанного холуя «они» меня не превратят. – И на лице его блуждала скорбно-презрительная улыбка, кривил губы.

Мишу выслали из Ленинграда после убийства Кирова в числе нескольких тысяч «представителей буржуазии и дворянства»: его отец, адвокат, владел до революции домом в Санкт-Петербурге. После революции дом реквизировали, адвокат попал в число «бывших крупных домовладельцев», Миша значился «сыном бывшего крупного домовладельца». Таких ребят в Уфе было много, положение их неясное, паспорта не отобрали, только ликвидировали ленинградскую прописку. Будущее свое Каневский представлял, конечно, совсем иным и вот по «их» милости оказался в Уфе, в роли тапера. Все в этом городе было ему ненавистно: «их» клубы, «их» пианино и рояли, которые уже давно пора настраивать, но хамье этого не понимает, «их» лозунги на стенах, «их» пошлые современные мелодии, которые ему приходилось играть. В душе презирал Глеба и Леню, никакие они не музыканты, Семена Григорьевича, Нонну и Сашу – халтурщики, сшибают деньгу – держался особняком, не вступал в разговоры, даже курил, стоя в стороне. Как только кончались занятия, мгновенно исчезал.

Глеб его невзлюбил, держался с ним холодно.

– Не выношу еврейского интеллигентского высокомерия, – сказал он Саше.

– Оказывается, ты антисемит? Не думал.

– Я не антисемит, дорогуша, все мои друзья и в школе, и в училище были евреи. И соседи по квартире тоже, прекрасные люди! И мои учителя многие – евреи, таких учителей не найдешь! Но у каждого народа есть свои недостатки, у еврейских интеллигентов – высокомерие. Каневский много о себе понимает, считает себя гением.

– «Этот армянин», «этот хохол», «этот грузин» – противно слушать, – Иванов украдет, скажешь: «Иванов вор». А Рабинович украдет, скажешь: «Еврей вор».

– Неприятный тип.

– Тип – это ты! А он несчастный, гонимый человек.

Во время урока Глеб поглядывал в сторону Саши, чувствовал себя виноватым после разговора о Каневском. Потом перестал об этом думать, играл, покачивая в такт музыке головой, лицо было размягченным, глаза отсутствующими, видимо, что-то вспомнилось. Занятия кончились, а он все сидел за пианино, опустив руки на колени. Кивнул Саше: подойди!

– Ты заметил, дорогуша, что настроение создают самые незатейливые мелодии, самые простенькие слова. Не надо никаких выкрутасов, но желательно, чтобы было слово «помнишь». Тут, скажу тебе, дорогуша, никто не может устоять.

– Например?

– Пожалуйста, даже с твоим именем: «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке на берегу. – Он тихонько подыгрывал себе одной рукой, те, кто не успел уйти, возвращались от двери, Глеб хорошо пел, Саша это знал, еще по Калинин. – Саша, ты помнишь тихий вечер, весенний вечер, каштан в цвету...» Это Изабелла Юрьева, а вот тебе Лещенко:

«Помнишь, как на Масленой в Москве в былые дни пекли блины, ты хозяйкой доброю была и блины мне вкусные пекла». Ну и так далее.

Саша уже вел занятия самостоятельно, сам произносил вступительные речи, не повторял Семена Григорьевича, цитировал не Сократа и Аристотеля, а Пушкина:

Люблю я бешеную младость,  
И тесноту, и жизнь, и радость,  
И дам обдуманный наряд;  
Люблю их ножки; только вряд  
Найдете вы в России целой  
Три пары стройных женских ног.

– Если бы Пушкин появился на наших занятиях, – заключал Саша, – то убедился бы, что в России стройных ножек гораздо больше.

Все улыбались, и Саша начинал занятия.

– Здорово ты придумал с Пушкиным, – одобрил Глеб.

Каневский, обычно не вступавший в разговоры, усмехнулся:

– Современно и своевременно. Отмечали столетие со дня гибели Пушкина, теперь его знают все советские люди. Я прочитал в газете выступление не то доярки, не то свинарки, не помню: «Молодец, Татьяна: отшила Онегина. Когда простенькая была, в деревне жила – отказался от нее. А как генеральшей стала, сразу понадобилась».

Он замолчал, по-прежнему скорбно-презрительно кривя губы. С Сашей, с единственным, у него тут сложились более или менее дружеские отношения. Саша жалел его, озлобленного и беспомощного, жалкого в своей гордыне. Каневский чувствовал Сашино участие, перебрасывался с ним двумя-тремя фразами, именно ему охотнее всего аккомпанировал. Но сегодня не смог сдержаться. Слишком совпало это с пушкинскими торжествами, проведенными на государственном уровне с фальшивой помпой. И пользоваться его именем здесь, на этой халтуре? Саша и сам чувствовал, что дует в общую дуду. Но жалко было отказаться от такого радостного вступления к занятиям. Разглагольствовать об эксплуатации капиталистами негритянского населения Америки? Нет, стихи Пушкина о балах, о тесноте и радости здесь больше подходят.

– Подкусил тебя сегодня Каневский, подковырнул, – заметил Глеб.

– Чем это?

– Пушкиным... Мол, власти используют Пушкина и ты с ними заодно.

– Ну что ж, так может показаться.

– Не всем, дорогуша, не всем. Мне вот не показалось, мне, наоборот, понравилось. А ему нет. «Свинарки», «доярки»... Видел он этих свинарок и доярок? Молочко небось пьет, а доярок презирает. Он бы хоть раз на их руки посмотрел. Пальцы корявые, распухшие, ими по клавишам не потренькаешь, попробуй подои корову, поймешь, сколько сил надо.

– Дался тебе этот Каневский! Может быть, тебе не нравится, что он играет на рояле не хуже тебя?

– Он обязан играть лучше меня, он учился в консерватории, а я нигде не учился, к тому же я не музыкант, а художник. Мне не нравится другое, мне не нравится, что мы из-за него в тюрьму сядем. Вот что мне не нравится.

Саша пожал плечами.

– Да-да, дорогуша, представь себе! Насчет Пушкина он сказал издевательски: в Пушкина вцепились хамы.

– Зачем искать такой смысл? Извратить можно любое слово.

– Я ничего не извращаю, дорогуша. Но быть бдительным, как сейчас говорят, я обязан, должен быть на стреме, думать о том, кто рядом со мной и чего я могу от кого ожидать. Время такое, дорогуша, а ты тем более обязан! В Калинин ты еще чувствовал себя бывшим зеком, осторожным был, а здесь забыл, вот и вляпаешься. Впрочем, ты уже и в Калинин бдительность потерял.

– В чем именно?

– Я тебя там в «Селигере» предупреждал насчет режима. Ты должен был на следующий же день уволиться со своей задрипанной автобазы и мотать оттуда вместе со мной. А ты остался.

– Мы с тобой уже говорили об этом. Уволился на несколько дней позже.

– Нет, дорогуша, нет, – поморщился Глеб, – не уволился, а уволили. «Ввиду убытия» – это значит: или посадили, или из города выгнали. Ты еще счастливо отделался. Могли не просто лишиться права проживания, могли и выслать. Только, видно, короткий срок им дали, некогда было разбираться, кого куда, а так всех чохом – вон из города, и концы. Задание выполнено!

– Неизвестно, как бы получилось, если бы я уехал с тобой. А так у меня все законно: с работы уволен, с места жительства выписан.

– Выписан! А где прописан? Не чешешься? Как твой любимый Пушкин писал: «Зима, крестьянин торжествует, надел тулуп и в ус не дует». Вот и ты не дуешь! Живешь себе тихо, спокойно. А случись сейчас здесь драка с этими вот башкирами, вмешается милиция – ваши документы! Позвольте, а где вы прописаны? Нигде! А у нас больше трех суток жить без прописки не положено. Может быть, вы скрываетесь, может быть, вы преступник? Сейчас у тебя несколько месяцев без прописки, а там, глядишь, и полгода, и год накапает. Приедешь в другой город, приедешь прописываться, а тебя спросят: где год околачивались? Что скажешь? На новом месте другой Людки и Лизы-паспортистки может и не найтись. Да и здесь Мария Константиновна в Гастрольбюро увидит твой паспорт и скажет: снимаю вас с учета, у вас нет прописки. Кстати, дорогуша, я тебе говорил: надо явиться к Марии Константиновне с паспортом. Говорил?

– Да, говорил, но как-то мельком.

Глеб хлопнул обеими ладонями по столу.

– Что ты, дорогуша, мотаешь мне нитки... У меня ведь не катушка! Что значит «мельком»? Для тебя ничего не может быть «мельком», все имеет значение, все моментом усекай и поворачивайся!

– Что об этом говорить, – нахмурился Саша. – В Калинин я не поеду, никто мне там выписку не аннулирует. Надо придумать что-то здесь.

– А почему сам не думал? Хоть и попадал ты в серьезные переплеты, да, видно, везло тебе, вывинчивался. А может и не повезти, крупно не повезти, так что смотри в оба.

## 6

Предупреждение Глеба сбылось на следующий же день, бес в нем сидит или заранее знал? Утром, когда Саша умывался, к нему вышла хозяйка.

– Александр Павлович, вчера приходили с избирательного участка, с ними паспортистка из домоуправления. Составляют списки по выборам в Верховный Совет. Читали, наверно, в газетах, в декабре будут всенародные выборы.

– Читал, конечно, знаю.

Опять, как когда-то, противно и тревожно зануло сердце.

– Составляют они списки жильцов. – Голос у хозяйки был нудный, монотонный. – Чтобы все обязательно проголосовали, все сто процентов. Я вас записала – Панкратов Александр Павлович, артист, по направлению Гастрольбюро. А паспортистка меня обрывает: «Никакого направления из Гастрольбюро вы мне на него не давали». Александр Павлович, я запомнила, давали вы мне направление?

Саша замялся:

– Не помню... Какую-то бумажку оттуда мы, кажется, приносили, когда пришли с моим товарищем в первый раз.

– Может, я куда-то засунула, совсем без памяти стала. Но дело поправимое. Случалось, я направление теряла, бывало, жильцы протаскают в кармане и тоже теряют. Мария Константиновна всегда копию давала. И еще: вам велели зайти с паспортом на избирательный участок, тут недалеко, в школе.

– А если я до выборов уеду?

– Они вам все объяснят, открепительный талон дадут.

Хотел хотя бы на время душевного спокойствия: никуда не ходить, не объясняться, не унижаться. И вот расплата. В газетах пишут о предстоящих выборах как о великом торжестве советской демократии. Выдвигаются кандидаты в депутаты «от блока коммунистов и беспартийных» – «достойные сыны и дочери советского народа». Первым кандидатом называют товарища Сталина. Все это Саша читал каждый день, где-то копошилась мысль, что выборы могут быть чреваты неприятностями для него, но отгонял эту мысль и дождался. Дурак, не послушался тогда Глеба, уехал бы с ним из Калинина, осталась бы в паспорте калининская прописка. А теперь на избирательном участке начнутся выяснения, и хозяйку подведет – держала три месяца человека без прописки, и Марии Константиновне в Гастрольбюро достанется – взяла на учет. Что же делать? Не сходить ли к брату Вериного мужа, он давний житель Уфы, может, посоветует что-нибудь.

Его встретила женщина в старом капоте, с испуганными глазами.

Саша представился, добавил:

– Вера Александровна писала вам обо мне и звонила Сергею Петровичу.

– Нет, нет. – Женщина замотала головой. – Сергея Петровича нет, он уехал, надолго, не знаю, когда вернется.

Не предложила сесть, мотала головой, хотела, видно, только одного – поскорее захлопнуть за Сашей дверь.

Саша ушел. Побоялись, наверно, принять его, судимого.

Когда в воскресенье он позвонил в Москву, мама сказала:

– Ты по Вериному адресу не ходи, ее деверь в больнице, надолго.

Саша понял, Верин родственник арестован, потому так перепугана его жена. Рядовой инженер, отец троих детей, и его посадили.

Все это выяснилось в воскресенье, а в тот день вечером Саша сказал Глебу:

– Ты оказался прав.

– Что случилось, дорогуша?

Саша передал разговор с хозяйкой.

– Влип ты, дорогуша, – заулыбался Глеб, – как башкиры говорят: «Ошибку давал, вместо «ура» «караул» кричал».

– Уеду завтра из Уфы, иначе за горло возьмут. Конечно, я виноват, подвожу и хозяйку, и Марию Константиновну, и Семена, но что делать?

– Чем ты их подводишь? – Глеб насмешливо смотрел на него.

– Я уеду, а им расхлебывать эту историю.

– Все о других печешься. – Глеб смотрел все так же насмешливо. – О человечестве, как бы кого не подвести... Человечество о себе само позаботится, у тебя совета не спросит.

– Я не понимаю, о чем ты говоришь.

– Все о том же. «Им расхлебывать». А чего им расхлебывать?! Подумаешь, приехал какой-то танцор-плясун-гастролер, проболтался, даже не прописался и укатил... Привет с Анапы! Отплясал свое. Таких перекаати-поле, дорогуша, десятки. Кто будет твое дело расследовать, кому ты нужен? Домоуправление само прохлопало, три месяца человек жил без прописки. Мария Константиновна? Ну скажет Семену: «Каких вы несолидных людей держите!» Тоже ведь прозевала. И все. Уедешь – никого не подведешь. Кроме себя, конечно. Что будешь делать на новом месте? Хоть и падают на тебя девки, но ведь не сразу попадешь на такую, чтобы в деле помогла. Нет, дорогуша, если ты уедешь, им нечего будет расхлебывать. А вот если останешься, тогда им придется мозгами шевельнуть, и Семену, и Машеньке нашей красавице Константиновне: надо им что-то с тобой делать, надо им свой промах исправлять.

– Это неприемлемо: присутствует элемент шантажа.

– Вот-вот, дорогуша, это интеллигентство гнилое в тебе говорит, чистоплюйство твое! Уехать всегда успеешь, надо здесь все шансы испробовать. Семену ты нужен, ты в Уфе знаменитость, Семен заключает договор, а там просят: пришлите нам того чернявого, что во Дворце труда занятия ведет. Вот какая о тебе слава пошла... И я тебе сам скажу – не ожидал! Когда ты делаешь первый шаг и так это протяжно говоришь: «И... раз!», то это твое «и» тянет всех за собой. Что же, Семен тебя отпустит, а сам будет бегать по группам? Думаешь, он на палочку опирается для форсу, для солидности? У него ноги плохо ходят, он только на первом занятии таким фертом выглядит, а потом два дня отлеживается. Разве он вытянет по шесть часов в день? И замены тебе нет. Значит, он должен твое дело уладить. Договорится с Марией Константиновной, не беспокойся! Она с Семеном повязана, никуда не денется и все может. Давеча одному обормоту квартиру с пропиской устроила, с временной, правда, пропиской, но тебе какая разница, тебе важно три месяца прикрыть. Ляпнут в милиции штамп, и катись к едрене фене. Поговори с Семеном, все начистоту выложи, он мужик ушлый, сделает, как надо.

Все произошло так, как и предполагал Глеб. Семен Григорьевич взял Сашин паспорт и вернул на другой день с двумя направлениями, копию Сашиной хозяйке, а другое – по новому адресу, с добавлением: «Просьба прописать временно». Саша съездил, посмотрел квартиру: убогий домишко на окраине Уфы, на огородах, грязь непролазная, осенняя. Хозяйка, шустрая старушка, показала ему каморку с деревянным топчаном вместо кровати и гвоздем на двери вместо шкафа, взяла паспорт, направление и деньги за месяц вперед. Это жалкое жилище стоило вдвое дороже комнаты в центре – цена прописки.

Оставаться в этой халупе, мотаться сюда каждую ночь после занятий Саша не собирался. Прописка есть, и жить он может теперь где пожелает. Повесил на гвоздь старый костюм, плащ, зимой уже не нужный, засунул под топчан сношенные туфли, положил на табуретку возле окна зубную щетку – придал видимость жилья. Сходил на избирательный участок, предстал перед очами членов избирательной комиссии, их там было трое, проверили паспорт, внесли в списки, вручили приглашение на голосование, без всякой надобности сверлили Сашу недобрыми глазами, говорили казенно.



И сразу всплыло в памяти, как у них дома, в Москве, в начале тридцать третьего года получали паспорта... В домоуправлении толпились жильцы, волновались, запомнились две старушки, тряслись от страха, боялись подойти к столу, за которым сидели милицейский чин, паспортистка и худющий пожилой тип – представитель общественности. Каждый жилец держал в руках заполненную анкету, выкладывал ее на стол вместе с метрикой и справкой с работы. Милицейский чин их рассматривал, если что-то было непонятно, возвращал, требовал принести другие. Если же документы были в порядке, выдвигал ящик стола, сверялся с лежащим там списком, накладывал на анкету резолюцию и передавал паспортистке.

Саша не понимал тогда, почему эта процедура вызывает у кого-то тревогу и волнение: преступников тут нет, прожили в этом доме жизнь, многих Саша знал с детства. Перед ним в очереди стоял Горцев, его Саша тоже знал с детства, вежливый интеллигентный человек, муж известной балерины, умершей год назад. Саша помнил ее пышные похороны. Горцев в черном пальто шел за гробом. Они не были близко знакомы, но здоровались как люди, часто встречающиеся друг друга во дворе, на лестнице, в лифте. Горцев выложил документы, милицейский чин их просмотрел, взглянул на список в ящике стола, положил документы Горцева в отдельную папку.

– Явитесь завтра в одиннадцать часов в восьмое отделение милиции.

– Позвольте... – начал Горцев.

– Гражданин, я вам все объяснил. Следующий!

– Но я хотел бы знать...

– Все там узнаете. Следующий!

Как рассказывала потом мама, Горцеву паспорт не выдали, приказали покинуть Москву: его отец до революции был фабрикантом. Отказали в паспортах еще нескольким семьям в их доме. И тем двум старушкам отказали. Говорили, что «беспаспортные» выехали на сто первый километр.

Почему же он тогда молчал, не возмущался? А когда самого коснулось, задумался.

Саша жил у Глеба. Поставили раскладушку, добавили хозяйке тридцатку. В свою халупу Саша являлся раз в неделю, обычно в воскресенье утром, на 7 ноября принес торт – праздничный подарок, старушка обрадовалась: «Люблю слатенькое», – почему не ночует, не спрашивала, привыкла к тому, что жильцы не ночуют, только ближе к декабрю каждый раз напоминала, чтобы пришел голосовать, иначе неприятностей не оберешься, ее на этот счет строго предупредили, и пришел бы пораньше, грозились после двенадцати дня ходить по квартирам, собирать тех, кто не явился.

Глеб тоже предупредил насчет выборов:

– Не вздумай вычеркивать, у них все бюллетени меченые. Сразу опознают.

Саша, естественно, не вычеркнул единственного кандидата, даже фамилию его не запомнил и в кабину не зашел, она стояла в другом конце зала, зайдешь – подумают, хочешь вычеркнуть. Прошел мимо натяканных на каждом углу «общественников» к урне, опустил бюллетень.

Все так поступали. Не было ничего удивительного в том, что за «блок коммунистов и беспартийных» проголосовало 98,6 процента избирателей. И не удивили слова Сталина на предвыборном собрании: «Никогда в мире еще не было таких действительно свободных и действительно демократических выборов, никогда! История не знает такого примера...» Удивило только, откуда взялись почти полтора процента голосовавших против.

## 7

Перед отъездом Шпигельглас передал Шароку связь с Марком Григорьевичем Зборовским – агентом по кличке «Макс», он же «Тюльпан». Шпигельглас спешил, но настолько важной была фигура «Макса» – Зборовского, что Шпигельглас посчитал необходимым собственным присутствием закрепить этот контакт. Зборовский был личным секретарем, доверенным лицом и ближайшим другом сына Троцкого – Льва Седова, выпускавшего в Париже «Бюллетень оппозиции» и работавшего над созданием IV Интернационала.

То, что Шпигельглас давно охотится за Троцким, не вызывало у Шарока никакого сомнения. В свое время Шпигельглас опирался в этом деле на Скоблина и ближайшего скоблинского друга в Болгарии генерала Туркула. Убийство Троцкого белогвардейцами выглядело бы акцией возмездия за поражение в гражданской войне. И люди Миллера и Драгомирова принимали в этом участие, когда Троцкий из Турции переехал в Европу. Но сорвалось. Не получилось.

В Мексике же, где Троцкий обосновался с января 1937 года, русских эмигрантов-белогвардейцев нет. Марк Зборовский оставался единственным человеком, способным через сына проникнуть в окружение отца. А пока он был ценным источником информации. Лев Седов доверял ему все, вплоть до своей личной переписки с отцом, в письмах они называли Зборовского Этьеном. О степени доверия говорило такое письмо Льва Седова отцу: «Во время моего отсутствия меня будет заменять Этьен, который находится со мной в самой тесной связи и заслуживает абсолютного доверия во всех отношениях». Копию этого письма, как и всех прочих писем сына к отцу и отца к сыну, Зборовский передал Шароку. Таким образом, в Москве были осведомлены о каждом шаге Троцкого и его сторонников. В информации Лев Седов именовался «сынок», Троцкий – «старик».

Зборовский понравился Шароку, интеллигентный, молчаливый еврей с ясным открытым взглядом и неторопливыми движениями, родился в 1908 году в Умани, на Украине, потом жил в Польше, был членом польской компартии, год отсидел в польской тюрьме, уехал с женой в Берлин, затем в Париж, в 1933 году его завербовали. В Советском Союзе остались сестра и два брата.

При следующем свидании Зборовский передал Шароку материалы о подготовке конгресса троцкистского IV Интернационала со списками и адресами ожидаемых делегатов, передал копии последних писем Седова Троцкому и Троцкого Седову. Как и при первой встрече, движения Зборовского были неторопливы, взгляд ясный и открытый, это не болтливый Третьяков, не заносчивый Скоблин, не было в нем и самоуверенности, которую не любил Шарок в поляках, он производил впечатление человека внешне мягкого, но внутренне твердого, знающего себе цену. Никаких лишних разговоров. О гражданской супруге Седова – Жанне Мартен – Зборовский сказал, что отношения там по-прежнему сложные, Жанна – особа экзальтированная, хочет руководить и своим бывшим мужем, Раймоном Молинье, и новым мужем, Львом Седовым. Но Молинье от политической деятельности отошел, а со Львом Седовым Жанну связывает только воспитание Севы Волкова – внука Троцкого и племянника Седова, которого он усыновил после самоубийства своей сестры Зинаиды. Зборовский рассказывал об этом сдержанно, даже с некоторым сочувствием к Седову.

В общем, Шарок понимал, почему Седов доверяет Зборовскому. Такому человеку трудно не довериться. Конечно, если не знать, что за доверие Зборовский платит предательством, а за предательство получает деньги. Впрочем, работая пятый год в органах, Шарок ничему не удивлялся. Нет героев, нет подвижников, нет святых. Всех можно купить, продать, предать, сломить, сломать, запугать. От солдата до маршала, от простого работяги до министра. В парижской газете Шарок, например, прочитал статью бывшего жандармского полковника о том, что товарищ Сталин, когда он именовался еще Иосифом Джугашвили, был платным

осведомителем царской охранки по кличке «Фикус», в статье приводились даже документы о сотрудничестве Джугашвили с жандармами. И Бурцев, великий разоблачитель провокаторов, утверждал в свое время, что в Центральном Комитете большевиков было два сотрудника царской охранки, одного Бурцев раскрыл – Малиновский, другого назвать не мог, но доказывал, что он существует. Теперь утверждение Бурцева подтвердил жандармский полковник и назвал имя провокатора – Сталин.

Верил ли этому Шарок? Почему не верить? Он-то служит советской охранке, почему Сталин не мог служить царской? Шпионы, осведомители – все это существует, существовало и будет существовать тысячелетия. Никто на свете от такой работенки не гарантирован. Но ни с единым человеком Шарок эти статьи не обсуждал – не читал, не знает, не ведает, слухом не слыхивал. Одно упоминание об этом может стоить головы. Во всем соблюдал осторожность. Как-то, передавая Шпигельгласу очередной «Бюллетень оппозиции», сказал: «Я этой блевотины даже читать не хочу». На что Шпигельглас ответил: «Нет, почему же, своих врагов надо знать». С такими рассуждениями Шпигельгласу несдобровать. И Троцкому несдобровать. Лучший друг его сына наш агент. И сын, и отец ему доверяют, считают преданнейшим человеком, забыли, что слова «преданный» и «предатель» одного корня. Доверять никому нельзя. Троцкий этого не понимает и потому погибнет. А товарищ Сталин понимает, не доверяет никому, всех истребляет вокруг себя, в этой мясорубке погибают предатели, правда, погибают и преданные люди.

В конце января Зборовский сообщил Шароку, что Седов плохо себя чувствует, жалуется на боли в животе. Конечно, живот может заболеть у каждого, но при этом сообщении что-то мелькнуло в глазах Зборовского, как-то по-особенному прозвучал его голос. Шарок понял – известие чрезвычайной важности, такая ситуация заранее оговорена – и шифровкой в Москву информировал Шпигельгласа. Тот приказал о здоровье «сынка» докладывать ежедневно, завтра же в Париж прибудет «Алексей», Шароку следует организовать встречу «Алексея» с «Максом», но самому в ней участия не принимать.

«Алексея» Шарок видел как-то мельком, в Москве, на Лубянке. Его тогда удивило, что этот незначительный с виду человек, бывший боксер, так хорошо владеет французским. Почему так хорошо владеет, стало понятно, когда Шарок узнал, что «Алексей» входит в группу, руководимую Яковом Исаковичем Серебрянским.

Выполняя поручения своего тогдашнего шефа, Шарок был однажды у Серебрянского дома, в особняке на Гоголевском бульваре, познакомился с его женой Полиной Натановной. Лицо значительное. Глаза умные. «С биографией тетя», – уважительно подумал Шарок. Уже на улице, перебирая свои впечатления, решил, что Серебрянский похож на римского патриция. Среднего роста, плотный, черты лица крупные. Много позже Шарок узнал, что Серебрянский, бывший эсер, руководит в их учреждении группой специальных поручений, то есть акциями похищений и ликвидации противников. Сотрудников этой группы чекисты за глаза называли «Яшины ребята». «Алексей» был из этой группы, так что о цели его приезда догадаться было нетрудно.

После свидания со Зборовским «Алексей» тут же исчез. Зборовский остался на связи с Шароком и вскоре сообщил, что Седову стало совсем плохо, его положили в больницу на Rue Narcisse Dias под именем господина Мартена (по фамилии Жанны). Доступ к нему имели только Жанна и Зборовский. Теперь сообщения от Зборовского поступали ежедневно. Шарок передавал их в Москву. Восьмого февраля Седову удалили аппендикс, операция прошла успешно. Девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого состояние больного было хорошим: ходит по палате. Четырнадцатого – новое сообщение: накануне вечером у Седова неожиданно начались галлюцинации. Он бегал по клинике, кричал что-то по-русски, упал на диван в кабинете директора. Ему сделали повторное переливание крови, но спасти не удалось. Шестнадцатого февраля, находясь в состоянии комы, Седов скончался. Вскрытие

ничего не показало. Да оно и не могло ничего показать. Переданный «Алексеем» препарат был неизвестен французским врачам, действие его вызывало смерть только на десятый день. Порошок был всыпан в еду перед отправкой Седова в больницу.

## 8

Першило в горле, насморк, врачи посоветовали посидеть дома. Сталин не поехал в Кремль.

Хмурый день. По ЕГО приказу снег на веранде не убирали. Следов на нем нет – никто не подходил. И, как всегда, вид нетронутого белого снега успокаивал. Снег висел на деревьях, лежал на крыше караульного помещения. Снег с крыш убирали только тогда, когда ОН уезжал в Кремль, а пока ОН на даче, взбираться на крыши, скрести лопатами не разрешалось – не любил скрежета над головой, не любил, когда сверху слышались шаги. Даже дорога от ворот к дому не убиралась: боялись возней во дворе ЕГО разбудить.

В комнате темновато, но Сталин не зажигал свет – потерялось бы чувство уюта, которое он обычно испытывал в такой вот хмурый зимний день в тишине и покое своего дома. Умылся. Бриться не стал, сегодня показываться некому.

Валечка принесла на подносе завтрак.

– Как чувствуете себя, Иосиф Виссарионович? Как здоровычко?

– Хорошо. В библиотеку пойду.

Она робко посмотрела на него.

– Что смотришь, не узнаешь?

– Так ведь хотели вы, Иосиф Виссарионович, дома посидеть. И врачи...

– Врачи разрешили библиотеку, – оборвал ее Сталин.

– Тогда ладненько, чудненько.

Это «ладненько», «чудненько» выразилось вот в чем: когда Сталин в валенках, шубе и шапке-ушанке вышел из дома, дорожка от дома до библиотеки была очищена от снега, крыльцо библиотеки – деревянного дома, на этаж врытого в землю, подметено. И в самой библиотеке тепло, проветрено. Когда успели?

На стеллажах книги правильно стоят, по разделам, по алфавиту ОН легко находил нужную, не мог терять времени на поиски. Карл Маркс говорил, что его любимое занятие – рыться в книгах. Маркс не руководил государством, было время рыться в книгах. Ленин, пользуясь Государственной публичной библиотекой, откуда книги выносить нельзя, каждый раз просил выдать ему книги на воскресенье, в понедельник утром вернет. Как глава правительства подавал пример соблюдения законов? Нет. Просто интеллигентская привычка свято соблюдать библиотечные правила. Ленин, в сущности, книжный человек, из этого вытекали его крупные просчеты. А для НЕГО книга – инструмент в работе, не более того.

На столе «Рассказы о детстве Сталина». Напечатали для него экземпляр и ждут согласия отпечатать тираж. Не получают ЕГО согласия. Плохая книжка. Ненужная. Все приторно, все благостно – добрые родители, дружная семья. Враки! Особенно раздражают «земляки», на них то и дело ссылается автор. Как стараются, сукины дети! Набиваются на «детскую дружбу», которой не было. ОН не помнит этих заносчивых, жестоких мальчишек, презиравших или не замечавших его. Теперь заливаются соловьем, хотят показать свою ничтожную персону, остаться в истории.

Писала русская женщина, а книга насквозь огрузиненная. Угодить хотела, дура! Сплошь грузинские имена, к тому же детские: Зурико, Бесико, Темрико, Отарико, Гоги... Русские дети будут смеяться: Сосо, Сосико...

Уже есть один ребенок – Володя Ульянов, хорошенький, беленький, кудрявенький, этакий русский барчонок, нарисован на всех значках, на всех фуражках, симпатичный, понимаешь, русский дворянский сыночек. Зачем же еще один?! Да еще со странным и смешным именем Сосико?! Для советских детей ОН должен быть не сверстником, а всемогущим вождем товарищем Сталиным, во френче, сапогах, детям импонирует военная форма. Ленин – это где-

то уже далеко, а ОН – живой. И для советских детей должен быть живым – живым отцом, живым Богом. Мертвый Иисус может быть младенцем. Иисус и Ленин сделали свое историческое дело и могут быть теперь очаровательными крошками. А ОН нет, ОН не может быть!

Копаются! Какой-то осетинский ученый болван написал исследование: мол, товарищ Сталин из осетинского рода Дзугата. Есть такая деревня в Осетии – Дзугата, и все выходцы оттуда – Дзугата. Тем, кого крестили на севере, дали русские окончания «ев» или «ов» – Дзугаев, Дзугатов, а на юге грузинский дьяк выводил «дзе» или «швили». Вот и его предки стали сначала «Дзугашвили», а потом «Джугашвили». Теперь все хотят присвоить его себе: осетины – себе, грузины – себе.

Гитлер запрещает писать о своих предках. Правильно делает! Отец Гитлера, Алоис, внебрачный сын крестьянки Шикльгруббер, носил фамилию своей матери, потом вдруг объявился его отец Гитлер, и Алоис стал Гитлером, и его сын Адольф тоже стал Гитлером. И Гитлер правильно рассудил: зачем все это знать немецкому народу? Чтобы зубоскалили, чтобы издевались – как бы, мол, звучало: «Хайль, Шикльгруббер!»

Какие-то идиоты ковыряются в биографии Ленина: предки Ленина по отцу – русские и калмыки, по матери – шведы и евреи. Зачем это нужно советскому народу? Гитлер требует чистоты расы, а ОН не требует. У ЕГО детей отец грузин, мать русская, да еще с немецкой добавкой. Что ж из того?! Русский народ – это смесь славян с угрофиннами, тюрками и монголами. Смешанные браки внутри СССР надо поощрять, они и создают единый советский народ. А браки с иностранцами надо пресекать. Они способствуют шпионажу и предательству. К чему привели Романовых браки с иностранными принцессами? К тому, что последний царь Николай Второй был фактически немец: все его предки были женаты на немках, и русской крови у Николая Второго не осталось. Вот народ и отверг его: царь – немец, царица – немка, как он может воевать против своих немцев?

Он не потомок царской династии, и никакая генеалогия ему не нужна. Его мать грузинка, отец записан грузином, значит, он грузин по происхождению, а фактически – русский, принадлежит прежде всего русскому народу, вся его жизнь и деятельность связана с русским народом. Еще этот ученый болван докопался до метрической книги Горийской соборной церкви за 1878 год, где будто бы записано: 6 декабря у жителей Гори крестьянина Виссариона Ивановича Джугашвили и его законной супруги Екатерины Габриеловны родился сын Иосиф. Крестили новорожденного протоиерей Хаханов с причетником Квиникидзе. Таинство происходило 17 декабря. Выходит, он сделал себя на год моложе? Для чего сделал? Не удастся бросить на него тень.

ЕГО роль как вождя и руководителя в революции, в гражданской войне, в социалистическом строительстве – такие серьезные исследования надо поощрять, а копание в его личной биографии надо прекратить раз и навсегда.

На листе бумаги Сталин синим карандашом написал:

*В Детгиз при ЦК ВЛКСМ.*

*Я решительно против «Рассказов о детстве Сталина».*

*Книжка изобилует массой фактических неверностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, и «добросовестные» брехуны), подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом.*

*Но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из толпы в народ – говорят эсеры. Народ делает героев –*

*отвечают эсерам большевики. Книжка льет воду на мельницу эсеров. Всякая такая книжка будет лить воду на мельницу эсеров. Будет вредить нашему общему большевистскому делу. Советую сжечь книжку.*  
*16 февраля 1938 года. И. Сталин*

Он отложил папку, взял другую. Донесения о Троцком, о его IV Интернационале, «Бюллетени оппозиции» он просматривал ежедневно. «Сталинизм и фашизм представляют собой симметричное явление. Многими чертами своими они убийственно напоминают друг друга...» Троцкистская демагогия! Сходство большевизма и нацизма в ненависти к западным буржуазным демократиям, и прежде всего к чванливой Англии. У него с Гитлером общие враги, и эти враги соединят их в свое время. А пока ОН ведет свою игру с западными демократиями, пугает их Гитлером, Гитлер ведет свою игру, пугает их Сталиным. Но воевать против СССР, имея в тылу Англию и Францию, истощить себя в такой войне – на это Гитлер не пойдет. Троцкий это отлично понимает, предсказывает ЕГО союз с Гитлером, хочет оказаться пророком, не унимается. «Сталин уничтожает большевистскую партию... В историю Сталин войдет под презренным именем самого отвратительного из всех Каинов... Памятники, которые он соорудил себе, будут уничтожены или взяты в музеи и размещены в залах тоталитарных ужасов. И победоносный рабочий класс соорудит памятники несчастным жертвам сталинской злобы и подлости на площадях освобожденного Советского Союза... Сталинизм будет раздавлен, разгромлен и покрыт бесчестьем навсегда...»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.